



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Страшное дитя

I

Священник К. М. Аггеев написал прекрасную книгу о Константине Леонтьеве.

Почти все, кто писал о нем, мало знали его, потому что мало любили. Знание — любовь. С такою знающею любовью написана книга о. Аггеева. И суд его над Леонтьевым: «Христос ему остался неведом», — страшный суд любви, один из тех приговоров потомства, в которых чувствуется, что суд человеческий может совпасть иногда с Божьим судом.

Всю жизнь шел ко Христу, исповедовал Его, говорил Ему: Господи! Господи! — был тайным монахом, другом Амвросия Оптинского, изломал, искалечил, изнасиловал душу свою, проклял мир во имя Христа, — и все-таки не пришел к Нему, даже ризы Его не коснулся, лица Его не увидел.

Почему? За что? Как это могло случиться? Ответ — книга о. Аггеева.

Книга написана не столько священником, сколько человеком, о котором так и хочется сказать: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нелукавый, немудрый оказался мудрее лукавого, потому что именно здесь, в отношении своем к Христу — Леонтьев бездонно лукав, «нестерпимо сложен», по собственному своему признанию. Может быть, никогда вообще не было более сложного, мудреного, лукавого христианства, чем это. Непростота — вот, кажется, главное, что помешало ему подойти ко Христу.

С Богом лукав, а с людьми правдив. Удивительно соединяется в нем эта неземная, нечеловеческая ложь с человеческою правдою. Нестерпимо сложен внутри, нестерпимо прост извне. Едва ли найдется другой писатель, менее способный лицемерить, ка-

заться не тем, что он есть, скрывать свои самые тайные, страшные мысли и чувства. Что на уме, то и на языке. Человек последних слов, последних правд. О чем люди говорят на ухо, он возвещает с кровель.

Кажется, за эту правдивость и полюбил его «подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». И, произнося над ним ужасный приговор, предчувствует о. Аггеев, что на суде Божьем искупится личною правдою общественная ложь Леонтьева. Ведь не от себя, повторяю, и не для себя он лгал, а как это ни страшно сказать, — для Бога. Ответ за него дадут те, кто сделал Духа лжи из Духа истины.

II

Любил и знал Леонтьева и В. В. Розанов. Но любил неполною любовью, а потому и знал неполным знанием. Последняя тайна Леонтьева — отпадение от Христа — осталась Розанову непонятною или была им понята неверно. Любил для себя, сперва как учителя, потом как соумышленника в некотором лукавом — скажу прямо — коварном деле. Христианство Леонтьева — вода на противохристианскую мельницу Розанова. Если о. Аггеев любит Леонтьева за правду, то Розанов — за ложь: он ведь и сам бездонно лукав, может быть лукавее Леонтьева, хотя под видом бесконечной правоты и правдивости.

Как бы то ни было, Розанов первый заговорил о нем как о великом писателе и первый, указывая на его «почти полную нечитаемость», обратился к русскому обществу с тем упреком, который потом не раз повторялся: «Прошел великий муж по Руси — и лег в могилу. Ни звука при нем о нем; карканьем ворон встречен и провожен. И лег, и умер в отчаянии»¹.

Здесь повторяет ученик жалобу учителя, с которой тот жил и умер: «Мне же, наконец, надоело быть гласом вопиющего в пустыне!..»

Жалоба верная и неверная. Верно то, что нечитаемость Леонтьева — ошибка со стороны врагов; со стороны же друзей — она слишком понятна и не так велика, как может казаться. Неверно, будто бы друзья не читали, не знали его; вернее то, что не хотели знать, делали вид, что не знают.

Участь всех Кассандр — пророчествовать и не быть внимаемым, пока не совершатся пророчества. Леонтьев — Кассандра православно-самодержавной России.

Он и сам себя считает пророком. Взятся за гуж — не говори, что не дюж. Язва самолюбия писательского недостойна пророка. Не два венца — для одной головы: либо терн, либо лавр.

Не читали его, не говорили о нем: но молча делали то, что он говорил, исполняли пророчества. Чего же больше? Не слова, а дела важны для учителя жизни. Слова не услышаны, зато дела сделаны.

Леонтьев сказал, Катков сделал. — Катков для Леонтьева «истинно великий человек». Он предлагал еще при жизни его воздвигнуть ему «медную хвалу».

Главное величие Каткова в глазах Леонтьева — то, что «для укрепления русского государства не разбирал он средств: страх — так страх; насилие — так насилие; цензура — так цензура; виселица — так виселица... Он был похож на военачальника, который разбивает сам пулей голову одному, бьет кулаком по лицу другого, ругает третьего... Не щадил ни студентов, ни народ, ни земство, ни общество и предпочитал *казенную* Россию, основательно, ибо даже и вера православная не только перешла к нам *по указу* Владимира, но и въелась в нас благодаря тому, что народ *загнали* в Днепр».

В государстве — Катков, в церкви — Победоносцев². Все исполнилось, все исполняется.

«В Европе — гниль и смрад, — продолжает Леонтьев пророчествовать. — Европейское всеблаженство — всепошлость. На кой нам прах Европа? Бог с нею! — Прогресс — наихудшее зло, царство Антихриста. — Византизм — спасительный тормоз прогресса. Византизм в государстве значит — самодержавие, в церкви — православие».

И опять исполнилось, исполняется.

Но почему же исполнители от самого пророка отшатнулись в ужасе?

Леонтьев — глубокий мыслитель и никуда не годный политик. Есть многое в политике, что можно делать и о чем нельзя говорить. Можно бить кулаком по лицу, но нельзя кричать на всю Россию, на всю Европу, что в кулаке — Царство Христово. Можно вешать, но нельзя говорить о веревке в доме повешенного и провозглашать, что единственное начало русской государственности — виселица. Можно делать из креста «казенную поклажу», но нельзя возвещать с кровель, что сущность христианства — православная казенщина, загон языческой сволочи в Днепр.

По французской поговорке, бывают в семьях «страшные дети», которые говорят взрослым правду в глаза. Леонтьев — страшное дитя русской политики. Человек последних слов, он сказал не-

сказанное о русском государстве и русской церкви. Выдал тайну их с такой неосторожностью, что может иногда и союзникам казаться предателем.

III

Религиозная сущность России, по мнению Леонтьева, заключается в неразрывной связи самодержавия с православием. Православие — «христианство, дополненное и усовершенствованное», *исправленное*, как сказал бы Великий Инквизитор, есть «*религия не любви и свободы, а страха и насилия*».

Так определяет основную посылку Леонтьева о. Аггеев и всю книгу свою доказывает, что это верно.

Цвет православия — монашество, а в монашестве утверждается *полный разрыв неба и земли*. «Все на земле тленно и преходяще. Земная жизнь, во всей полноте ее проявлений, есть зло. Христианство обещает истинное бытие только на небе. — Презрение плоти, признание за зло всей природы, всех естественных влечений и разума, аскетическое отречение от мира — вот истина православия».

Религиозное начало Западной Европы — «поклонение человеку» — хуже, чем поклонение дьяволу. Бог говорит человеку: «Проклята земля в делах твоих. — Мир во зле лежит». Не какая-либо часть мира, а весь мир лежит во зле; не какая-либо часть земли, а вся земля проклята. «Все здешнее должно погибнуть. — Конец всему».

«На земле красота — все. Вся правда земной жизни на стороне эстетики. Но христианство вредит эстетике. Следовательно, христианству мы должны помогать *вопреки правде*». Вопреки правде, вопреки совести, разуму, всей человеческой природе, «*насильственно* должны мы верить в Бога». Чем насильственнее, тем подлиннее вера. Предел веры — предел насилия.

Бесконечное насилие, «боль и скука, состояние почти ежеминутного несносного понуждения», мученичество и мучительство, истязание себя и других во славу Божью — «оно-то и есть, — заключает Леонтьев, — настоящее монашество», цвет православия, «исправленного христианства».

Теперь понятно, почему утверждается неразрывная связь самодержавия с православием.

Самодержавием осуществляется православие, «религия насилия», как полагает Леонтьев; насилием человеческим осуществляется насилие Божеское, ибо всякая власть, всякое насилие

от Бога. *Бог есть насилие.* Чем насильственнее, тем божественнее; чем самодержавнее, тем православнее. С этой точки зрения падают все обвинения самовластия в жестокости. Предел святости — предел жестокости. Самодержавие — самоистязание народа. Святые подвижники возлагают на себя железные вериги; святые народы — железное самовластие. Чем железнее, тем святее. «Будешь пасти их жезлом железным», — сказано в Откровении. Самодержавие и есть этот жезл железный, которым пасутся народы.

Что возразить Леонтьеву?

«Вы слишком православны!» — сказал ему однажды Страхов³ с глазу на глаз. При других не сказал бы. Ежели православие — истина, то как можно быть слишком в истине? Не слишком, а *до конца* православен.

Но для средних, «теплых», подобных Страхову, это жгучее православие Леонтьева — как раскаленное морозом железо, на котором, если ухватиться за него рукою, останется кожа.

«*Всему этому, — говорит он сам, — я научился от православной церкви, от монастырей, в которых одних — истина*».

Не додумался, а дострадался. Тут уже не Константин Леонтьев, а «брат Константин», любимый ученик Амвросия Оптинского, принявший тайный постриг.

Не от себя, а от всего православного монашества, от лица всех святых говорит он то, что говорит, — с таким дерзновением, потому что уверен, что все святые за ним и что он только досказывает недосказанное, доканчивает недоконченное, доходит туда, куда идут все,

Диалектика его неотразима. Раз принята посылка: Бог против мира, мир против Бога, — нельзя не сделать выводов, которые он делает. Ход мысли — ход чугунного колеса по стальной рельсе: покатилося — докатится, а все, что на пути, — надо сбросить или смолоть. Для того чтобы сломать этот чугун, надо бы снова раскалить его на огне; а иного огня, кроме того, на котором выковал Леонтьев свою диалектику, в православии нет, ибо о нем еще никто не знает.

IV

«Однажды ночью печаль моя о том, что все люди должны погибнуть в нынешние времена, сделалась так велика, что я не мог уснуть ни на минуту и несколько раз вставал с постели, затепливал свечи перед иконами и молился со слезами на коле-

нях. Тут мне пришла на ум мысль спасти сына своего от гибели вечной. Чтобы он после смерти моей не развратился в вере, я решил его зарезать. Услал жену из дому и сказал сыну: “Встань, Гришенька! Надень белую рубаху, я на тебя полюбуюсь”... Мальчик надел белую рубаху и лег на лавку в передний угол. Отец подложил ему шубку в головы и, заворотив подол рубашки, нанес несколько ударов ножом в живот. Мальчик забился. Тогда, желая прекратить его страдания, отец распорол ему живот сверху донизу. Вдруг первые лучи восходящего солнца упали на лицо убитого. Убийца выронил нож из рук и повалился перед образом на колени, прося Бога принять милостиво новую жертву. Вошла жена и упала перед мертвым сыном. Отец, поднявшись на ноги, сказал ей: “Ступай и объяви обо всем старосте. *Я сделал праздник святым*”. В остроге, до решения дела, он уморил себя голодом».

Это о Куртине, раскольнике Спасова согласия, рассказывает Леонтьев, стараясь определить «трагическое своеобразие русской души».

«Ужасное проявление веры! — заключает он. — Но ужасное или благотворное, это все же проявление веры. А без этой веры куда обратится взор человека, полного ненависти к иным бездушным сторонам современного европейского прогресса? Куда, как не к России, где, в сфере православия, еще возможны великие святители, подобные Филарету?»

Великие святители, великие святые, подобные Амвросию Оптинскому, Серафиму Саровскому, — рядом с детоубийцей Куртиным. У нас, не святых, волосы дыбом встают.

«Не ужасайтесь, прошу вас, — успокаивает Леонтьев. — В России много еще того, что зовут варварством. И это наше счастье, а не горе. Национальное своеобразие дороже всего»⁴.

С одной стороны — «смрадная гниль Европы», а с другой — благоуханный цвет монашества, «исправленного и дополненного христианства», в котором возможны такие явления, как Филарет и Куртин.

Существует ли связь между ними? — «Существует», — отвечает Леонтьев.

Филарет и Амвросий Оптинский согласны, будто бы, с ним, с Леонтьевым, а он с Куртиным — в главном, именно в том, что *вся земля проклята, весь мир во зле лежит* — мир против Бога, Бог против мира.

«Амвросий Оптинский более сочувствовал сожжению Гоголем своих произведений, чем писанию», — замечал Леонтьев. У Гоголя духовнее, утонченнее, внутреннее, но в последнем счете то

же детоубийство, тот же «праздник святым», что у Куртина. И Амвросий этому сочувствует.

Бог — страх. Бог — гнев. Бог — насилие. «Признание Бога Богом любви — ложь». Но значит ли это: Христос — ложь?

Страшно без церкви, но еще страшнее поверить, что черный лик Спаса, пред которым плавает в крови зарезанный сын Куртина и пылают рукописи Гоголя, — лик Бога, а не зверя, Христа, а не Молоха. Вот ужас, от которого у нас, грешных, волосы дыбом встают.

«Розовое христианство» — розовую дымку хочет сдернуть Леонтьев с черного каменного лика, чтобы кровавое солнце отразилось на нем ослепительно.

Над «розовым христианством» Достоевского издевается с неутолимою злобою.

«Учение старца Зосимы ложное, — повторяет на тысячи ладов. — В Оптиной “Братьев Карамазовых” правильным православным сочинением не признают, и старец Зосима ничуть на о. Амвросия не похож... Устами Зосимы говорит сам Федор Михайлович. Не верьте ему... Да и вообще Зосима ни на кого из живых, прежних и нынешних старцев не похож... Истинное монашество совершенно чуждо ложных идей Достоевского». Т. е. чуждо идей о Боге любви.

И вот наконец последнее признание: не старец Зосима, а «*Великий Инквизитор воплощает положительную сторону христианства*».

Великий Инквизитор воплощает религиозную сущность России, неразрывную связь самодержавия с православием, — «Союз социализма («грядущее рабство» Спенсера⁵) с русским самодержавием и пламенной мистикой — это возможно. Но уж жутко же будет многим! И Великому Инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фед. Мих. Достоевскому». — И всем верующим в не «исправленного», не «дополненного» Христа.

«Христианство *дополненное и усовершенствованное* в православии», — говорит Леонтьев.

«Мы *исправили* подвиг Твой, — говорит Великий Инквизитор. — Ступай и не приходи более. Мы не с Тобой, а с *ним*».

С кем? Знает ли об этом Леонтьев?

«Не столько атеисты — враги Христа, сколько такие лица, как вы», — сказала ему жена И. С. Аксакова⁶.

Это голос мира. Но где же голос церкви?

«Пусть исповедующие веру Леонтьева знают, что они служат, чему хотите, — но только не Господу Иисусу Христу». Что подсказало о. Аггееву этот приговор — православная вера священника или доброе сердце человека?

Главный вопрос об отношении церкви к Леонтьеву остается без ответа. Не опровергнуто убеждение: «Всему этому я научился у православной церкви, у монастырей, в которых одних истина».

С чрезмерной легкостью отлучает о. Аггеев Леонтьева от церкви. Сама церковь этого не делает. Почему? Ведь вот, несмотря на весь свой «паралич», на всю свою немоту, нашла она голос, чтобы отлучить Л. Толстого, а для врага Христова не находит, почему же опять, почему? Именем Амвросия Оптинского, именем всех святых совершается отречение от Христа, — и Амвросий молчит, святые молчат, церковь молчит.

Мы верим: многое из того, что говорит Леонтьев о церкви, хуже, чем ложь, — обман; хуже, чем обман, — клевета. Святые святые и для нас правдою о небе, *личную* святостью; но нет у них правды о земле, святости *общественной*, которой мы ищем. Тут сама святость — грех; тут исполняется пророчество: «*Другой* придет во имя свое; — другой препояшет тебя и поведет, *куда не хочешь*».

Но никогда не скажут святые, подобно Леонтьеву: «Мы не с Тобой, а с *ним*».

Леонтьев оклеветал церковь. Почему же клевета не опровергнута? Почему церковь молчит?

И есть ли предел молчания, за которым церковь перестает быть церковью? В книге о. Аггеева человек видит этот предел: священник слеп — не может или не хочет видеть.

Леонтьев, впрочем, не сделал из собственных посылок последнего вывода; за него делает В. В. Розанов, его ученик, и даже больше, чем простой ученик, — духовный сын, тоже «страшное дитя».

«Все теперешнее антихристианство Розанова, — справедливо замечает о. Аггеев, — прошло через Леонтьева, и первый не может быть понят без второго». — Леонтьевское христианство и розановское антихристианство — одно.

«Евангелие есть, действительно, сверхъестественная книга, где передан рассказ о Сверхъестественном Существе, — говорит Розанов. — Единственное и главное чудо, и притом уже совершенно бесспорное, есть Он Сам. — Иисус человеком не был. Но был ли он — Мессия? Размышляющие люди имеют причину сомневаться о лице Иисуса как Мессии»⁷.

Не человек и не Мессия, — кто же он?

Ужасающий ответ ясен.

«Мы не с Тобой, а с *ним*, вот наша тайна». — Тайна, соединяющая Розанова с Леонтьевым.

И все-таки, «все-таки, — заключает Розанов, — хочется все простить церкви, со всем примириться и умереть православным». Это значит: хочется быть православным без Христа, против Христа.

Хочется, но можно ли?

Можно ли утверждать неразрывную связь русской исторической власти с русской исторической церковью как религиозную сущность России, подобно Леонтьеву, и спрашивать, подобно Розанову: «Кто же Он?»

Да, можно ли?

Церковь безмолвствует.